

ФОРД МЭДОКС ФОРД

Давние огни – недавние размышления

[233]

ИЛ 2/2018

Воспоминания молодого человека

Перевод и вступление КСЕНИИ АТАРОВОЙ

Форд Мэдокс Форд (1873—1939, наст. имя Форд Херманн Хеффер) — писатель, широко известный у себя на родине, но мало знакомый нашим читателям. На русский были переведены лишь два его романа — один, “Парад лицемерия”, в далеком 1928 году, другой, “Солдат всегда солдат”, — в 2004-м; а ведь это писатель удивительно плодовитый. Начинал с детских сказок и стихов, создал тридцать романов (в том числе три в соавторстве с Джозефом Конрадом), ему принадлежат литературные биографии, эссе, книги по истории и культуре, памфлеты, мемуары...

Важное место не только в биографии Форда, но и в истории английской литературы занимает его издательская деятельность — выпуск ежемесячника “Инглиш ревью” (1908—1911), где печатались Харди, Генри Джеймс, Голсуорси, Конрад, Д. Г. Лоуренс, Уэллс, а позднее — “Трансатлантик ревью” (1924—1925), где был представлен цвет европейского авангарда — Гертруда Стайн, Джойс, Дос Пассос, Тристан Тцара и где заместителем главного редактора был Эрнест Хэмингуэй.

Во время Первой мировой войны Форд участвовал в боевых действиях, был контужен в битве при Сомме. После войны взял литературный псевдоним, используя фамилию деда, Форда Мэдокса Брауна, знаменитого живописца, близкого художникам Прерафаэлитского братства, в лондонском доме которого на Фицрой-сквер писатель жил с 1889 года.

Мемуарная книга Форда, из которой мы публикуем первую главу, в нью-йоркском издании названа “Воспоминания и впечатления. Очерк атмосферы”. И действительно автор передает именно “атмосферу” английской художественной жизни последней трети XIX века, причем тех слоев культурной элиты, которая находилась в оппозиции к официальному искусству, культивируемому, прежде всего, Королевской академией художеств. Средоточием этого диссидентства, этого викторианского авангарда представляется писателю дом его деда на Фицрой-сквер, который посещали, помимо прерафаэлитов (Д. Г. Россетти, его брата Уильяма и сестры

Кристины, Уильяма Морриса, Бёрн-Джонса), и Э. Суинберн, и Джон Рёскин, и Оскар Уайльд, и даже Тургенев и Золя.

Ценно и то, что “атмосфера” того времени не описана искусствоведами, ретроспективно изучающим эпоху, о которой существуют десятки монографий, а воссоздана свидетелем описываемых событий, какими они запомнились ребенку, а чуть позднее, подростку, который почти в сорокалетнем возрасте обратился к своим давним впечатлениям из боязни, что со временем они начнут тускнеть.

Форда называли импрессионистом, и он соглашался с таким ярлыком: “Мы приняли без больших колебаний клеймо ‘импрессионисты’, которым нас наградили, — пишет он о себе и о близких ему по духу Джозефе Конраде и Генри Джеймсе. — Мы видели, что Жизнь не повествует — она обжигает наш ум впечатлениями”.

В предисловии к своим мемуарам он пишет: “...Эта книга — книга впечатлений... Хотя многое уже написано о рассказанных здесь фактах, но никто не попытался чистосердечно и вдумчиво передать атмосферу этих двадцати пяти лет. Короче говоря, в этой книге полно неточностей с точки зрения фактов, но она абсолютно точна в отношении атмосферы”.

Ближний круг

У Теккерea читаем:

По дороге в сити мистер Ньюком заехал взглянуть на новый дом (№ 20, Фицрой-сквер), который его брат, полковник, арендовал в доле со своим индийским приятелем мистером Бинни... Дом просторный, но, надо признать, мрачноватый и обветшалый. В недалеком прошлом там была школа для девочек. След, оставленный медной табличкой мадам Латур, был все еще заметен на высокой черной двери, жизнерадостно украшенной в стиле конца прошлого века похоронной урной по центру и гирляндами и оленьими рогами по бокам... Мрачные кухни. Мрачные конюшни. Длинные темные коридоры; оранжереи с потрескавшимися стеклами; полуразрушенная ванная комната с уныло капающей водой из бака; широкая белокаменная лестница, несущая все

отпечатки грустного облика дома в целом; но полковник считал его вполне жизнерадостным и приятным и обставил на скорую руку. — “Ньюкомы”¹.

И именно в этом доме полковника Ньюкома я впервые открыл глаза, если не на дневной свет, то на любые зрительные впечатления, которые с той поры не изгладились из памяти. Живо помню, как, еще совсем маленьким, я весь дрожал, стоя на пороге, при мысли, что огромная каменная урна, замшелая, в пятнах копоти, украшенная вместо ручек массивной оленьей головой и поддерживаемая каменной плиткой не больше книги формата фолио,

1. Перевод К. Атаровой. (Здесь и далее — прим. перев.)

может упасть и разmozжить мне голову. Такая возможность, помнится, не раз обсуждалась друзьями Мэдокса Брауна.

Форд Мэдокс Браун, создатель полотен “Труд” и “Прощание с Англией”, первый художник в Англии, если не во всем мире, который пытался передать свет именно таким, каким его видел, был в то время на пике своих творческих сил, своей репутации и материального благополучия. Доход от его картин был значительным, и так как он был прекрасным собеседником, замечательным хозяином, необычно и неразумно щедрым — огромный строгий и довольно мрачный дом стал местом встреч почти всех фрондирующих интеллектуалов того времени. Между 1870 и 1880-ми годами собственно Прерафаэлитское движение было уже далеко позади, но эстетизм, который тоже называли прерафаэлитизмом, набирал силу, и душой этого движения был Мэдокс Браун. Я помню его пышущим здоровьем, с седой бородой лопатой и копной седых волос, разделенных на прямой пробор и падающих на уши, — ну прямо король червей из карточной колоды. По своим пристрастиям и повадкам — особенно во время приступов подагры — он был бранчливым старомодным тори; однако взгляды и жизненные обстоятельства сделали его революционером-романтиком. Под конец жизни он, кажется, даже называл себя анархистом, и бог вам в помощь, если вы, хоть в малейшей степени, усомнитесь в сем экстравагантном утверждении. Но он любил красивую позу, как и почти все его друзья.

В ближнем круге тех, кто создавал и поддерживал эстетическое движение, не было никакой томной меланхолии. Что касается мужчин, они были дюжие, страстные люди, очень восторженные, очень романтические и поразительно задиристые. Ни в Россетти, ни в Бёрн-Джонсе, ни в Уильяме Моррисе, ни в П. П. Маршалле — а они и были главными приверженцами фирмы “Моррис и К^о”, подарившей эстетизм западному миру, — не было ни малейшего стремления к существованию в аромате лилий. Уже внешний круг, ученики, развили это похвальное стремление к поэтической бледности, к обтягивающим одеяниям и аскетической внешности. Думается, Оскар Уайльд первым сформулировал эту поэтическую вегетарианскую теорию жизни в студии Мэдокса Брауна на Фицрой-сквер. Нет, в лидерах движения было мало аромата лилий! Так, один из любимых анекдотов Мэдокса Брауна — во всяком случае, он рассказывал его с особым смаком — был о том, как Уильям Моррис, выйдя на площадку лестницы в помещении “Фирмы” на Рэд-Лайон-сквер, кричал вниз: “Мэри, эти шесть яиц были испорченные. Я их съел, но чтобы такое больше не повторялось!”.

А еще у Морриса было обыкновение в любое время года ежедневно съедать за ланчем по ростбифу и сливовому пудингу — и чтобы пудинги были большими. Как-то раз на той же лестничной площадке он заорал: “Мэри, и это ты называешь пудингом!”

Он держал на кончике вилки пудинг размером с обыч-

ную чайную чашку. И вот, при совокупив попреки, он швырнул еду вниз, прямо на макушку Мэри. Не стоит считать это проявлением дикости у художника и поэта. Мэри до конца своих дней была одной из самых преданных приверженцев “Фирмы”. Нет, это просто был полнокровный жест, присущий этому кругу.

Так же как и другой анекдот Мэдокса Брауна о том, как он заставил Морриса сидеть в полной неподвижности, уверяя, будто рисует его портрет, в то время, как мистер Артур Хьюз потихоньку запутывал узлами пряжи его длинных волос ради удовольствия насладиться взрывом, который непременно последует, когда освобожденный Топси — а друзья всегда называли Морриса Топси — по привычке запустит в волосы свои пальцы. В этот анекдот мне всегда было трудно поверить. Однако так как Мэдокс Браун рассказывал его чаще других, за ним в реальности несомненно должно было что-то стоять.

Нет, в этих эстетях не было ничего аскетического. Все, чего они хотели, это пространства для самовыражения и непринужденности. Вот помнится как чудное видение: Россетти как чуждое видение: Россетти лежит на диване, зажженные свечи у него в ногах и в изголовье, а две необыкновенно красивые дамы роняют виноградинки прямо ему в рот. Но Россетти лежал так не потому, что хотел поразить зрителей красотой этой сцены, а просто потому, что ему нравилось лежать на диване, нравилась виноград и особенно нравились красивые дамы. По существу,

все они хотели свободы самовыражения. И когда не могли выразиться как-то иначе, они самовыражались в письмах. И — не знаю почему — чаще всего они пересылали свои письма со взаимной бранью через Мэдокса Брауна. Начиналось с короткой резкой записки, а потом она обрастала целыми пачками бумаги. Например, один великий живописец писал: “Дорогой Браун, скажите Габриэлю¹, что, если он в воскресенье повезет мою модель Фанни на речную прогулку, я прекращаю с ним отношения”.

Габрэль в воскресенье везет модель Фанни на речную прогулку, и за этим следует трехсторонняя дуэль в помпезных письмах.

Или, опять же, Суинберн пишет: “Дорогой Браун, если П. говорит, будто я сказал, что Габриэль пристрастился <...>, П. лжет”.

Обвинение против Россетти — колоссальнейшее измышление, так как Суинберн, один из вернейших его друзей, никоим образом сделать такого не мог. И вот возникает переписка раблезианского масштаба. Браун пишет П., спрашивая: как, где и когда возникло такое обвинение; он объясняет, как он пошел к Джонсу², который не имеет никакого отношения к этой истории, и обнаружил, что Джонс почти ничего не ел последние две недели, и как

1. Данте Габриэль Россетти (1828—1882) — английский поэт и художник, один из основателей Прерафаэлитского братства.

2. Эдуард Бёрн-Джонс (1833—1898) — английский художник, близкий по духу к прерафаэлитам.

они решили, что самое лучшее будет пойти и рассказать обо всем Россетти, и как у Россетти произошел неприятный разговор со Суинберном, и как все были огорчены. П. отвечает Брауну, что он никогда не говорил о Россетти ничего подобного, что его там в этот момент вовсе не было, так как он был у Рёскина, у которого болели зубы и который прочел ему вслух 120 страниц “Камней Венеции”¹; что он не мог сказать ничего подобного о Габриэле, так как ничего не знает о его повседневных привычках ввиду того, что последние девять месяцев с ним не общается из-за его омерзительной манеры заглазно злословить, которая, он уверен, приведет их всех к краху, поэтому он посчитал благоразумным отдалиться от него. Сам Габриэль вмешался в перепалку, сказав, что он выяснил, что это вовсе не П. выдвинул обвинение, а К., и что обвинение относилось не к нему, а к О. Х. из Королевской академии. Если, однако, он, то есть П., обвиняет его, Габриэля, в злословии, то П. прекрасно известно, что это не так: он, Габриэль, просто сказал пару слов про тещу П., драную старую кошку. И вот переписка продолжается. Джонс и Суинберн, Маршалл и Уильям Россетти, Огастес Хоуэлл и многие другие принимают участие в перепалке, пока, наконец, все не отказываются от своих обвинений. Проходит полгода, и Мэдокс Браун при-

глашает всех спорщиков на обед, и Россетти собирается привести старого Флинта, торговца картинами, и заставить его, хорошенько подпоив, купить картину П. “Заблудившийся пастух” за две тысячи фунтов.

Эти грандиозные ссоры были на самом деле лишь бурями в стакане воды, и, хотя крах “Фирмы” привел к холодку между бывшими партнерами, мне всегда было приятно вспоминать, что на последний частный показ одной из картин Мэдокса Брауна в его студию пришли все оставшиеся в живых члены Прерафаэлитского братства и почти все партнеры, стоявшие у истоков фирмы “Моррис и К^о”.

Приезд сэра Эдварда Бёрн-Джонса и его жены обнаружил характерную для Мэдокса Брауна страстность. Сэр Эдвард угорил президента Королевской академии присоединиться к ним в этой поездке. Они были движимы добрым желанием показать Мэдоксу Брауну, что к концу его жизни Королевская академия хотела бы прояснить большее официальное признание художника, который упорно отказывался почти полвека признавать *ее* существование. К сожалению, это было осенним днем, и сумерки наступили очень рано. Так что не только высокопоставленные гости оказались в полутьме, но и огромное полотно было почти неразличимо. Леди Бёрн-Джонс со своим особым очарованием, неслышно для Мэдокса Брауна шепнула мне, что надо бы зажечь в студии газовое освещение. Я было чиркнул спичкой, но был напуган ярост-

1. “Камни Венеции” (1851–1853) — одно из наиболее значимых сочинений английского теоретика и историка искусства Джона Рёскина (1819–1900).

ным встревоженным окриком Мэдокса Брауна: “Черт подери, Форди! Ты хочешь, чтоб все мы взлетели на воздух!”. И он принялся объяснять леди Бёрн-Джонс, что при курении трубок возникает утечка газа. Когда же она предложила свечи или парафиновую лампу, Мэдокс Форд заявил с не меньшей горячностью, что не понимает, как она могла допустить, будто он держит в доме такие адски опасные вещи. Итак, разговор продолжался в мрачнейшем сумраке, и вскоре мы спустились вниз, где в золотистом свете множества свечей рядом с тисненными с позолотой обоями был сервирован чай. Дело в том, что Мэдокс Браун твердо решил, что “никакой чертов академик” не увидит его картины.

Однако мне приятно думать, что у этих знаменитых доброжелательных людей было все же так сильно чувство солидарности. Они приехали, и кое-кто издалека, чтобы выказать уважение и доброту по отношению к старику живописцу, который в тот период был совершенно забыт, как никогда ни до того, ни после.

“Лилейная” традиция учеников и последователей тех людей, как мне представлялось, почти полностью угасла. Но совсем недавно на очень фешенебельной свадьбе обнаружился один ее стойкий последователь в одеянии таких тонов — длинный ольстер горчичного цвета, зеленая шляпа, синяя рубашка, лиловый галстук и твидовый костюм. Этот господин смущенно продвигался в толпе прилично одетых людей. В одной руке он

нес малюсенькую нарисованную им картину. Она была размером не больше визитки и размещалась на огромной белой подложке. В другой руке он держал белую лилию на длинном стебле — такую ангел несет мадонне. Возможно поэтому, подумал я, он не снял свою зеленую шляпу. К нему подошла хозяйка, и он объяснил, что хотел бы поместить картину, свой свадебный дар, на наиболее выгодное для нее место. А когда она предложила заняться развеской по окончании церемонии, он отпрянул и отошел в сторону. Наконец он разместил картину на полу, под высоким окном и примостил сверху на раме ветку с лилиями. Потом отступил, разводя тощие руки и потирая бородку, осмотрел плоды своего украшения. Картина, сказал он, символизирует утешение, которое искусство будет приносить новобрачным в течение всей их совместной жизни, а лилия указывает на целомудрие невесты. Таково в семидесятые и восьмидесятые годы было поведение эстетов во внешнем круге. Оно было столь же им свойственно, как сливовый пудинг и ростбиф для Уильяма Морриса. И причину этого долго искать не приходится. У старшего поколения, прерафаэлитов и сотрудников “Фирмы” было слишком много тяжелой работы, чтобы беспокоиться о финтифлюшках.

В наши дни трудно представить, с каким неприятием сталкивалось любое новое художественное движение в Англии во времена королевы Виктории. Чарльз Диккенс, как я уже писал, громогласно призывал

не медля заключить в тюрьму Милле и других прерафаэлитов, включая моего деда, который прерафаэлитом не был. Святотатство — вот что им вменялось в вину, подобно тому, как это вменялось в вину в Англии первым любителям Вагнера. Сейчас в это трудно поверить, но у меня сохранилось три письма трех разных лиц, адресованные моему отцу, доктору Фрэнсису Хефферу, человеку огромной эрудиции и силы характера, который с начала 70-х и до своей смерти был музыкальным обозревателем в газете “Таймс”, в письмах говорилось, что, если он не воздержится от поддержки святотатственной музыки будущего — причем каждый из авторов писем использовал слово “святотатство”, — его следует поочередно: заколоть, окунуть в пруд, где купают лошадей, и до смерти забить с помощью наемных бандитов. Однако сегодня, когда бы я ни посещал концерты разнообразной музыки для беднейших слоев населения, не было случая, чтобы я не слышал как минимум увертюры к “Тангейзеру”.

В наши дни трудно разглядеть новое течение в каком бы то ни было искусстве. Нет сомнения, что есть новые движения, нет сомнения, мы, писатели, и наши друзья, художники и композиторы, создаем искусство будущего. Но нам не посчастливилось получить, как пощечину, окрик “святотатство”. Почти невероятно, чтобы такое произошло, чтобы строевое мозга было перекроено. Но для прерафаэлитов это слово было в высшей степени благословенным. Потому что тако-

ва человеческая природа — возможно, из-за упрямства, а возможно, из-за чувства справедливости, — что гонение на искусство, как и гонение на религию, просто делает его последователей более твердыми, а его защитников из-за их малочисленности — более сплоченными и более успешными в своем союзе. Именно несправедливость нападок на прерафаэлитов, именно ярость и шума привлекли к ним внимание мистера Рёскина. А привлечение мистером Рёскином внимание и оказанная им щедрая и нужная поддержка их движению, в конечном счете, поместила их на такую высоту, какой, возможно, как живописцы они и не заслуживали — ни как первооткрыватели, ни как страдальцы.

Мистер Рёскин по причинам, которые мой дед обычно называл сугубо личными, был единственным человеком, близким этому движению, который не имел никаких связей с Мэдоксом Брауном. Не знаю почему, но факт остается фактом: хотя картины Мэдокса Брауна выставлялись везде, где выставлялись картины прерафаэлитов, мистер Рёскин в своих сочинениях ни разу не упомянул его имени. Он никогда не ругал его и никогда не хвалил, он просто его игнорировал. И это в те времена, когда — мистер Рёскин прекрасно знал — одного его слова было достаточно, чтобы любой художник сколотил состояние. Этого слова было достаточно благодаря авторитету мистера Рёскина не столько в глазах широкой публики, сколько в узком кругу богатых покупателей, верных по-

клонников прерафаэлитского движения, которые смотрели ему в рот и в своих покупках опирались на его высказывания в печати.

Мэдокс Браун был самый благожелательный и добрейший человек, всегда готовый помочь. Однако проявление этих качеств приводило подчас к щекотливым положениям. Помню историю, которую в давние времена рассказывала, укладывая меня в постель, его служанка. Вот ее слова, которые буквально врезались в мою память: “Я была внизу на кухне и собиралась мясо подавать, когда спустился кэбмен и говорит: ‘Твой хозяин у меня в кэбе, совсем пьяный’” А я ему, — и величайшая гордость зазвенела в тоне Шарлотты, — мой хозяин сидит за столом и занимает гостей. Это мистер... Подними-ка его наверх и положи в ванну”.

У Мэдокса Брауна на разных этапах его жизненного пути была привычка, чтобы излечить поэтов и других его знакомых от пьянства, снабжать некоторых из них бирками со своим собственным именем и адресом. Таким образом, когда кто-нибудь из этих гениев оказывался поблизости в бесчувственном состоянии, он мог быть доставлен на Фицрой-сквер кэбменом либо еще кем-нибудь. Думаю, это была уловка, свидетельствующая, как ничто иное, об удивительно своеобразной изобретательности Мэдокса Брауна. Поэта, захваченного таким образом, Шарлотта и кэбмен переносили наверх, в ванную полковника Ньюкома — в ту самую ванную, согласно Тек-

керею, с уныло капающей водой из бака. Что до меня, то эта комната запомнилась мне как средоточие тепла и света, сопутствующие удовольствию ночевать у моего дедушки. И действительно для Мэдокса Брауна, как и для полковника Ньюкома — а они, с их великодушием, непрактичностью и наивной простотой, были удивительно похожи, — дом на Фицрой-сквер представлялся очень приятным и жизнерадостным.

Поэта, после лежания в ванне (ванна использовалась потому, что из нее он не мог скатиться и что-нибудь себе повредить) приводили в чувство парой крепчайших чашек кофе. После того как он протрезвеет, ему читали наставление и оставляли в доме, где он не получал из напитков ничего крепче лимонада. Когда же он находил такой режим невыносимым, он исчезал с биркой, пришитой к воротничку пальто, чтобы вновь появиться в сопровождении кэбмена.

Я не знаю ни одного случая, чтобы Мэдокс Браун проявлял резкость, за исключением случая, о котором расскажу ниже. Возможно, чрезмерно строгий отец еще старой школы, как дедушка он был непомерно снисходительным. Помню однажды, называя всех своих внуков, он, после тщательного взвешивания, пришел к выводу, что все они гении, кроме одного, относительно которого он колебался, — гений тот или сумасшедший. Поэтому я с удивлением прочел отзыв одного известного критика на выставку работ Мэдокса Брауна, которую десять лет назад я органи-

зовал в Графтон-гэллеры. В отзыве утверждалось, что картины Мэдокса Брауна заумны и уродливы, — но чего и ожидать от человека с таким грубым, извращенным нравом? Это показалось мне совершенно непотребным утверждением. Но, узнав имя критика, я вспомнил, что Мэдокс Браун однажды спустил его с лестницы. Этот джентльмен пришел когда-то к Мэдоксу Брауну по поручению одной знаменитой фирмы арт-диллеров с предложением, чтобы художник продавал ей в течение определенного срока все свои картины по очень низкой цене. За это фирма должна была, как теперь выражаются, заниматься его “раскруткой”: они будут делать все от них зависящее, чтобы он был избран ассоциированным членом Королевской академии. То, что Мэдокс Браун с такой яростью встретил предложение, казавшееся критикой чрезвычайно выгодным для обеих сторон, объясняет, почему джентльмен в здравом рассудке заявил, что у Мэдокса Брауна извращенный нрав.

Возможно, так оно и было.

Но если у него и была грубая оболочка, то сердцевина у него была нежная. Вот почему, я думаю, мрачный дом на Фицрой-сквер не оставался в сознании многих чем-то мрачным. Он был очень высоким, очень просторным и очень серым; и на площади перед ним высились высоченные мрачные платаны. А над портиком была погребальная урна с оленьей головой. Этот предмет, угрожающе опасный, всегда представлялся мне символом всего этого круга людей, столь практичных в ра-

боте и столь романтически непрактичных в жизни. Они прекрасно знали, как, согласно их представлениям, создавать картины, писать поэмы, делать столы, декорировать фортепьяно, комнаты, церкви. Но что касается жизни, они были немного поверхностны, немного романтичны, немного небрежны. Я бы сказал, что из них из всех Мэдокс Браун был самым практичным. Но его практицизм был довольно-таки своеобразным. Взять хотя бы урну. Большинство прерафаэлитов считали урну возможной угрозой, но не было предпринято никаких шагов, чтобы ее убрать. Им даже и в голову не приходило, кто понесет ответственность, если произойдет несчастье. Такое устройство психики трудно даже представить, но таким оно было, и урна стоит по сей день. Этот вопрос мог бы решить любой юрист, Мэдокс Браун мог бы внести дополнительный пункт страховки в договоре аренды. И подобно тому, как урна придавала определенный вид огромному георгианскому особняку, пережившему свою славу, она столь же долго оставалась темой разговоров, выражала дух этих живописцев, художников-поэтов, художников-ремесленников, художников-музыкантов, поэтов-флибустьеров, всей этой удивительной группы людей, связанных с искусством. Они собирались и сравнительно скромно пиروвали в комнатах, где полковник Ньюком и его коллеги, директора “Банделканд Борд”, лакомились острым индийским супом и пуншем со специями, сидя перед буфетом, где были выставлены напоказ ящики для

столовых приборов с ножами, примкнувшими друг к другу зелеными черенками.

Что же касается буфета Мэдокса Брауна, то он тоже демонстрировал ящик для приборов и ножи с зелеными черенками, глядя на который я всегда относил деда к старой школе, — в недрах ее он родился и принадлежал ей вплоть до смерти. Если он и был непрактичен, то в нем не было ничего от богемы; если он был романтичен, то его романтизм обрелся в строгих границах. Любому из детей его друзей, поступившему во флот, было суждено в его глазах стать не пиратом, а, по меньшей мере, адмиралом. Любой его знакомый юрист, Браун не сомневался, пусть тот был всего лишь стряпчий, должен стать лордом-канцлером. Любому юному поэту, вручившему ему пачку своих первых стихов, суждено было стать поэтом-лауреатом. И он действительно верил в эти романтические прогнозы, которые он раздавал всем без разбору. Если он и был первым, кто протянул руку помощи Д. Г. Россетти, то в других случаях его опека была не столь мудро направлена.

Разумеется, он был заклятым врагом Королевской академии. Для него члены этого августейшего учреждения неизменно были “чертовы академики”. Однако, прекрасно помню, что, когда вышел первый номер “Дейли график”, Мэдокс Браун, под сильным впечатлением линейных графюр одного художника, которого газета постоянно публиковала, воскликнул: “Клянусь Богом! Если юный Кливер бу-

дет продолжать не хуже, чем начал, эти чертовы академики, будь у них хоть капля разума, сразу же изберут его президентом!”. Таким образом, ясно, что романтизм не целиком вытеснил Королевскую академию, не стремился основать оппозиционный салон. Надо было захватить общепризнанное учреждение штурмом, напирая прямо на шканцы и направляя старый корабль по новому курсу.

Все эти люди были, по сути, добросердечны, ненавидели мелочность, худосочность формальности. Нельзя сказать, что они презирали деньги. Нельзя, пожалуй, и сказать, что в определенных моменты жизни некоторые из них не искали популярности, когда рисовали, писали, занимались поденщиной. Но они, по наивности, неспособны были делать это. Для пугливых — а публика всегда пуглива — в их индивидуальности было что-то тревожащее. И это тревожащее оставалось, даже когда они рисовали традиционных девочек с собачками для газетных рождественских выпусков. Собачки были слишком похожи на собак, в них не было никакого жеманства; девочки были слишком похожи на девочек. Казалось, что они только что потеряли молочные зубы.

Несмотря на итальянизм Россетти, который никогда не бывал в Италии, и увлечение Средневековьем Морриса, который никогда не видел Средневековья с его жестокостью, грязью, зловонием и алчностью, — несмотря на эти тенденции, которые двое духовных лидеров распространяли,

как заразу, — в целом дух старого романтического кружка был удивительно английским, даже георгианским. Казалось, они порождены Регентством и перепрыгнули через губительное влияние викторианства и коммерциализацию, распространенную в Англии принцем-консортом. Стилем жизни они напоминали мне старых морских капитанов. И действительно Мэдокс Браун получил должность мичмана в 1827 году. Его отец на знаменитой “Аретузе” участвовал в ставшей классической битве с “Бель-Пуль”¹. И если бы не ссора его отца с коммодором Коффином, после которой он потерял всякое влияние в адмиралтействе, Мэдокс Браун, возможно, не нарисовал бы ни единой картины и не жил бы в особняке полковника Ньюкома. Действительно последний раз я видел Уильяма Морриса в Портленд-плейс, где повстречал его совершенно случайно. Он направлялся в дом одного пэра, для которого его фирма делала заказ по декорированию, и он взял меня с собой. В то время он уже постарел и его работы стали весьма помпезными, так что оформление столовой своди-

лось, насколько помню, к одному огромному листу акантуса. Моррис обвел столовую отсутствующим взглядом и сказал, что только что беседовал с членами корабельной команды на Фенчёрч-стрит. Они довольно долго принимали его за капитана корабля. Это ему очень польстило — ему всегда хотелось походить на капитана корабля. И такое не раз с ним случалось, и каждый раз он неизменно испытывал удовольствие. С седой бородой, похожей на морскую пену, и седой шевелюрой, курчавой у висков, в которую он то и дело запускал пальцы, с крючковатым носом, румяным лицом и ясными светлыми глазами, в синей саржевой куртке и, чаще всего, с сумкой на плече — повстречай такого на улице и обязательно примешь его за моряка, сошедшего на берег. И это, по существу, было для всех них отличительной чертой. В своей работе они были по-морскому точны. Когда работу откладывали в сторону, они вели себя, как моряки, сошедшие на берег. Не потому ли Англия так скупа на художников? Быть может, все артистическое в нации властно поглотило море.

1. Речь идет об ожесточенной битве английского фрегата “Аретузы” с французским “Бель-Пуль” 17 июня 1778 г.